

ГЕОГРАФИЯ ЛИБО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАНВА БЕСОВ ДОСТОЕВСКОГО

Нина Каухчишвили

Достоевского вообще не устраивает одна точка зрения, хотя бы и крайне подвижная... ему нужны по крайней мере две точки зрения – авторская и повествователя, чтобы со всех сторон описать действие и персонажей.

Д.С. Лихачёв, *Литература-реальность-литература*.

Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить,
у ней особенная статья,
в Россию можно только верить.
Ф. Тютчев.

Berdiaev a été retenu non par un christianisme conduisant a un dogmatisme étroit, mais par le dynamisme de l'esprit donnant l'accès a la liberté.

M.M. Davy

В первую очередь, мне хочется высказать благодарность Р. Казари, которая обратила наше внимание на топографически-географическую организацию художественного текста. В данном докладе я не уделяю внимания „Художественной географии”, о которой писал недавно М.Н. Бойко, обращаясь к „географической” значимости западных стран, являющихся актантами в некоторых романах Достоевского, суть его анализа меня не убеждает. На деле Бойко не придаёт значения конфликтным отношениям между Западом и Россией у Достоевского.

Кроме того, хочется подчеркнуть, что эта тема стала актуальной после публикации в Италии труда Ф. Моретти *Атлас*

европейского романа XVIII и XIX вв., где уделяется внимание русскому роману и

...стране, которая была одновременно „в” и „вне” Европы – т.е. только Россия могла действительно опровергать „современную европейскую культуру” и подвергнуть её (Достоевским) настоящему экспериментированию (Moretti 1997: 35).

Моретти исходит из убеждения, что человеческая культура тесно связана с географическим расположением страны, и в истории каждой культуры отражаются некоторые опорные топографические пункты, ставшие вехами культурного развития данной страны. Поэтому географические условия порождают те идеи, которые лежат в основе любого художественного произведения, правда, Моретти посвящает своё внимание только роману.

Мне хотелось бы отметить, что географические критерии являются особенно актуальными в русской культуре с тех пор, как огромная масса русских была переброшена революцией в западную Европу. По словам немецкого исследователя К. Schlegel, этим создались новые красочные пятна на геофизической карте Европы, и вместе с тем произошла основательная культурная перетасовка. Такие размышления заставляют меня обратиться сперва к Н. Бердяеву.

Когда Бердяев оказался „в” и „вне” Европы, он ощутил конфликтность, о которой говорит Моретти, и почувствовал личную ответственность за современную русскую культуру, которую он хотел „спасти” от угрожающей тесноты узких западно-европейских рамок. Поэтому он боролся с современной западной культурой и подверг русскую культуру смелому эксперименту. Однако ему пришлось сопоставить эти пространственные измерения, и он убедился, что идеологическая сущность зависит и от пространственно-географического расположения страны. Затем он задумался о связи:

...между необъятностью, безграничностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и оформить их. У рус-

ского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, *он не знал меры и легко впадал в крайности (курсив мой, Н.К.)*. У народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно (Бердяев 1990: 44-45).

А затем он добавляет, что, напротив, русский народ не желает „знать распределения по категориям”, но кроме того он никогда не был буржуазным, как большинство западно-европейских народов.

В этих словах отражается взгляд на Россию из французского далека. Бердяев подверг свои духовные достижения оценке левого крыла русской эмиграции, а также французской интеллигенции. Таким путём сформировалось новое русское мировоззрение на Западе, а среди его собеседников выделяется Г. Федотов¹, который подступал к той же проблематике, ссылаясь на русскую почвенность²:

Мать-земля – это прежде всего черное, рождающее лоно землекормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный ее эпитет „мать-земля-сырая” (Федотов 1992: II: 74)³.

По Федотову, эта „мать-земля” неразлучно связана с „религиозной космологией русского народа” и с почитанием Богоматери. Такие мысли возникли, потому что Федотов и Бердяев

1 Федотов был одним из его ближайших сотрудников в разных парижских мероприятиях, на которого он ссылается в данной статье (Бердяев 1990: 45).

2 Г. Федотов, *Мать-земля. (К религиозной космологии русского народа)*, эта статья была сперва опубликована в журнале Бердяева „Путь”, 1935.

3 Но Достоевский, как Бердяев и Федотов, был сторонником почвенности и убеждён, что от неё зависит русская культура и литература. На деле, Достоевский подчёркивает в *Заметках* зависимость русской культурной традиции от *Матери земли*, когда он говорит: „Ведь грустно... подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина” (Достоевский 1956-57: IV: 68-69), того поэта, который положил основу русской культуре. А затем Достоевский задаёт себе вопрос: „Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей” (Достоевский 1956-57: IV: 69).

видели, как страдал русский человек, оторванный от почвы, от „матери-земли” и от той народной поэтической традиции, которая перевозносила „Богородицу – мать землю сырую” (*там же*, 67)⁴, на что намекает и Достоевский в *Бесах*⁵.

В этом положении они чувствовали свою ответственность и хотели спасти культурный вклад „Серебряного века” и богатство, вверенное им Соловьёвым, Флоренским и С. Булгаковым, которые возвеличили Софию, этот „божественно-тварный, небесно-земный лик” (*там же*), этот символ русской духовности. Следовательно, география душевная охватила русскую эмиграцию, заставила её сопоставить традиционное русское богатство с новыми географическими условиями, о чём свидетельствуют слова французского исследователя J.F. Duval, определившего Бердяева:

Un voyant de l'Esprit. Cette capacité de vision s'est d'abord nourrie de „l'immensité de la terre de l'infini de la plaine” russe, car „la géographie de la terre russe coïncide pour lui, comme pour Dostoevskij, – avec la géographie de son âme” (Duval 1992: 27).

То же самое подтверждает М.М. Davu, одна из постоянных участниц воскресных собраний в доме у Бердяева, где он утверждал, что Россия – страна необъятной свободы (Davu 1992: 19). Итак, свобода тоже зависит от пространственных измерений, и это одна из основ мирозерцания Бердяева⁶ и того левого эмигрантского крыла, которое считало свободу своим светилом, как пишет К. Мочульский:

4 Между прочим, об этом писал П. Флоренский в 1914 г., обсуждая древне-анатолийскую традицию о Матери-земле (Флоренский 1914), но тогда ещё без всякого указания на Софию.

5 В разговоре между Ставрогиним и Верховенским о заговоре, мы читаем: „Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...” (Достоевский 1956-57: VII: 441).

6 На самом деле нельзя забывать, что эти принципы „русской идеи” коренятся в одном из основополагающих, дореволюционных трудов – в *Смысле творчества* 1916 г. – книге, от которой он не отклонился ни на йоту до самого конца жизни. А о творчестве как таковом можно, по Бердяеву, говорить только тогда, когда оно исходит из абсолютной внутренней свободы.

Мы, выброшенные в эмиграцию, живем в пустоте. Но зато наша церковь никогда так не была свободна. Такая свобода, что голова кружится. Наша миссия показать, что свободная церковь может творить чудеса. И если мы принесем в Россию наш новый дух – свободный, творческий, дерзновенный – наша задача будет выполнена. Иначе мы погибнем бесславно (Мочульский 1946: 65)⁷.

В этих словах заодно слышится и отзвук слов Кириллова, который тоже борется с русскими измерениями, говоря о своей

...новой страшной свободе... Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать... новую страшную свободу мою (Достоевский 1956-57: VII: 644).

Эта мысль победила его в американском далеке и оказалась похожа на те душевно-географические переживания, о которых говорит Мочульский. Иначе говоря, внутреннее переживание „далека” было одинаковым в любое время и вызвало реакцию и в русской эмиграции, которая тоже говорила о страшной свободе. Это подтверждают слова м. Марии, которая, как и все, страдала под гнётом новых географических измерений⁸ и опасалась страшной свободы.

Хотелось бы привести один „практический” пример из её жизни. Обо всём этом свидетельствует репортаж м. Марии о *Поездке в сумасшедший дом St. Pie*, где она установила, как русские, попавшие в совершенно чужие жизненные измерения, были лишены свободы и считались „ненормальными”, что подтверждает, насколько человеческая жизнь обусловлена географически-топографической реальностью.

7 Эти слова звучат пророчески в настоящее время после возвращения наследия Бердяева и других эмигрантских мыслителей в Россию.

8 М. Мария создала в 1932 г. целую серию статей, посвящённых *Русской географии Франции*. До недавних пор было известно, что м. Мария (Скобцова) написала 4 статьи на эту тему. Мне удалось установить, что их всего 8, опубликованных в 1932 г. в „Последних новостях”, что было подтверждено Татьяной Емельяновой, которая нашла в той же газете и другие, до сих пор неизвестные статьи этого автора. Кроме того, эти статьи доказывают, насколько она была близка Бердяеву.

Один больной сообщил ей, что его считают сумасшедшим, но на самом деле: „Я-то здоров, а жизнь сошла с ума!“ И м. Мария уточняет:

Он из маленькой деревни, отстоящей от железной дороги на 80 верст. Так легко себе представить быт, который он считал нормальным, зимние сугробы, весеннюю пахоту... И, конечно, жизнь начала сходиться с ума... Незнание русского языка всеми окружающими, разве это не была сумасшедшая жизнь? (м. Мария 1992: I: 266).

Теперь я попытаюсь исследовать роль душевной географии в *Бесах*. Это сочинение занимает, конечно, особое место в творчестве Достоевского, поскольку оно представляется своеобразным романом-хроникой, и это подтверждается ролью хроникёра, одного из главных действующих лиц⁹. Этот факт обращает наше внимание на хронику *Зимние заметки о летних впечатлениях*, где сюжет, как в *Бесах*, пересекается с разными странами. Однако в *Заметках* автор с самого начала извещает о том, что он не соблюдает географических критериев, а исходит, напротив, из свойственного ему собственного измерения. Поэтому он может совершенно свободно располагать топографией и строить атлас своей хроники согласно свойственной ему точке зрения. Он пытается приложить душевную мерку к народам, к странам, искажая топографическое расположение отдельных мест, следуя только внутренней необходимости.

Следовательно, можно сказать, что Достоевский создаёт свою географию, что он подступает к своей задаче, как древние картографы, которые чертили карту земного шара по собственному представлению и ориентировали эти карты, исходя из своей духовной потребности. Это, конечно, не означает, что они были неумелы, просто их чертёж соответствовал их мироощущению, которое было особенного рода.

Итак, выясняется, что эта хроника построена на парадоксальном сопоставлении, на коллизии между двумя далёкими географическими сферами. Конечно, в *Зимних заметках* идеология накладывает свой отпечаток на каждое пространство, но

9 Мы даже осведомлены о его имени и отчестве.

Достоевский был особенно расположен к этому, благодаря своей топографически-технической подготовке, был способен создать личную перспективу, которая дала ему возможность свободно воспринимать всё разом:

...с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе (Достоевский 1956-57: IV: 62)¹⁰.

Но затем он отмечает, что

...это не значит свысока. Это архитектурный термин (*там же*, 66).

Такое определение не может быть случайным, и это даёт мне смелость предположить, что автор приложил тот же критерий к сложной хронике *Бесов*, тем более, что пространство играет с самого начала огромную роль в прозе Достоевского (Onasch 1976: 61)¹¹. Мне кажется, что „птичий полёт” даёт ему возможность взглянуть на то, что его поражает, что ему требуется, чтобы вникнуть в тайну чужих стран и в человеческую душу. В *Бесах*, например, Достоевский создаёт по такому перспективному принципу свою „табель о рангах”, по которой заговорщики будут действовать. Пётр Верховенский излагает Ставрогину:

Первое, что ужасно действует, – это мундир... Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, регистраторы, их товарищи... Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики (Достоевский 1956-57: VII: 403).

Однако, чтобы закрепить эту табель, требуется самая главная сила „все связывающий „цемент””: это стыд собственного

10 Он пишет, что он искал „синтетических, панорамных, перспективных впечатлений” (Достоевский 1956-57: IV: 62). Хочется добавить, что я не раз указала на это характерное и необычное определение Достоевского, которое мне кажется важным приёмом его авторской речи.

11 В 1976 г. К. Онаш, анализируя внутренний диалог *Бедных людей*, исходя из древнерусской иконописи, утверждал, что автору требовалась иконописная точка зрения и упоминал, кроме того, что Lesage скрывает крыши домов, чтобы проникнуть в тайну внутренней жизни в отдельных комнатах.

мнения”, и приходится трудиться, чтобы „ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают” (*там же*, 404).

Исходя из таких соображений, можно выяснить, что „птичий полёт” – такое же ключевое топографическое понятие, как „подполье”¹². В *Зимних заметках* Достоевский прямо объявляет, что он многого ожидал от Кёльнского собора, так как он „чертил его еще в юности, когда учился архитектуре” (Достоевский 1956-57: IV: 64), и это доказывает, что *он смотрит на всё глазами архитектора*. Думается, что умелому чертёжнику было бы нетрудно начертить точный „атлас” провинциального города, следуя топографическим указаниям *Бесов*. Ограничусь тут несколькими примерами, указывая на некоторые опорные пункты: дом губернатора, городской дом Варвары Петровны и Скворешники, где квартировал Ст. Трофимович¹³. Затем уточняется, что он

каждое лето перебирался в флигелек, стоящий почти в саду, из огромного барского дома (Достоевский 1956-57: VII: 20).

Кириллов и Шатов жили рядом, в одном доме, а внизу Лебядкин и недалеко от них Лямшин и г. Липутов. Виргинский жил напротив, в сравнительно большом доме, где собирались заговорщики. Всё это даётся в самых мелких деталях, которые лишний раз подтверждают, что Достоевский остался на всю жизнь умелым архитектором:

Он застал [Варвару Петровну] в большой зале, на маленьком диванчике в нише, пред маленьким мраморным столиком, с карандашом и бумагой в руках: Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях заметки (Достоевский 1956-57: VII: 353).

12 Конечно, в *Бесах* он тоже строит своё измерение: это „безограниченность” русской душевной географии, которая задыхающейся в узких рамках провинциального города, с этим сопоставляется неограниченное пространство далёких стран; здесь подтверждается, что *он смотрит на всё глазами архитектора*.

13 Иные события происходят у Виргинского, у Шатова и у Кириллова. Напротив, дом Лизиной матери Прасковьи Ивановны – это дополнительный пункт, лежащий почти вне сценария этого пространства, зато Скворешники Варвары Петровны составляют как бы кулисы всего действия.

С такими же подробностями представляется и внешняя структура города¹⁴:

Он [Ставрогин] прошел всю Богоявленскую улицу: наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство – река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался..., не отдаваясь от берега... когда вдруг... увидал себя чуть не на середине нашего длинного, мокрого плашкотного моста (Достоевский 1956-57: VII: 272).

И вот на этом мосту неожиданно появляется мрачная, грязная, душевно испорченная фигура каторжника Федьки, который как будто сросся с этой туманной атмосферой. Затем следуют и другие детали:

При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона Богоматери (Достоевский 1956-57: VII: 341).

Со структурной точки зрения, можно добавить, что архитектурные элементы¹⁵: мост, улица, площадь замедляют повествовательное время, исполняют функцию промежуточного момента, переходного времени от одного события к другому.

14 Конечно, определённые пространственные контуры являются решающими в повествовательной структуре Достоевского: начиная с *Бедных людей*, где всё происходит в одном кривом пространстве, в *Двойнике* внешнее пространство представляется мне зеркалом, переходным моментом, дополнением к тому, что, в основном, происходит в интерьере. Напротив, в *Белых ночах* интерьер является необходимым дополнением к тому, что делается под открытым небом. То же самое можно сказать о *Записках из подполья*, о *Преступлении и наказании*.

15 Эти расстояния измеряются обычно шагами: „Шагов еще за тридцать Николай Всеволодович отличил стоящую на крылечке фигуру” (Достоевский 1956-57: VII: 276); „я пробежал подле него десять шагов” (Достоевский 1956-57: VII: 93). Подробные указания встречаются во всех сочинениях Достоевского и особенно указания на далёкие расстояния: „Мальчик воспитывался в О-ской губернии, за семьсот верст от Скворешников” (Достоевский 1956-57: VII: 28).

Но пространства под открытым небом являются также опорными пунктами, как например, угрюмый ставрогинский парк, априорно призванный стать ареной самых страшных демонических сил. А рядом начинается тот лес, где Лиза¹⁶ появляется амазонкой незадолго до своей страшной гибели. Нельзя забыть и большую дорогу, по которой Степан Трофимович направляется к „новой жизни”, к эпилогу, в котором (за рамками романа) можно надеяться на спасение.

Конечно, ограниченное провинциальное пространство не могло удовлетворить требованиям душевных амбиций героев Достоевского, и поэтому они стремятся к чужим странам, надеясь взорвать несвойственную им ограниченность¹⁷.

Итак, Достоевский создал себе особую перспективу и особую „временную обратность”, которая накладывает на всё свой весьма условный ориентир. В *Бесах* он душевно пережил ту географию¹⁸, которую конкретно испытал во время долгого пребывания за границей, а сопоставление разных пространственных единиц, к которым он подходил с птичьего полёта и как опытный архитектор, дали ему возможность открыть духовную значимость чисто формальных элементов.

Теперь я постараюсь очертить под таким углом зрения личность некоторых персонажей.

Поражает незаурядная личность Ст. Трофимовича, которая сформировалась между Берлином, Парижем (ср. Достоевский

16 Её судьба тоже намечена „какими-то чудесными швейцарскими приключениями” (Достоевский 1956-57: VII: 314).

17 То же самое можно сказать про категорию времени, которая отличается точными указаниями, и это вопреки тому, что повествовательное время у Достоевского не есть нормальное хронологическое время. Но время это конкретная реальность, с которой надо считаться: „Он ее оставил всего только четыре минуты назад” (Достоевский 1956-57: VII: 20); „Секунд десять полных смотрела она ему в глаза” (*там же*).

18 С 25 августа 1867 г. по 15 сентября 1868 г. Достоевские жили в Германии, Швейцарии и Италии. Он чувствовал, как позже и Бердяев, что русская почвенность неминуемо сражается с европейской, тем более, что первая часть этого романа писалась в Дрездене. А Швейцария является основным географическим фоном, территорией, где любая идеология может себя свободно выявить, не рискуя подвергнуться опасности. Всё это звучит почти пророчески в истории русского революционного движения.

1956-57: VII: 12), Петербургом, Москвой и, наконец, русской губернией (Скворешниками), где окончательно проявилась его оригинальность. Но уникальный характер этого человека требовал особенных топографических координат, на которые я уже указала выше: в провинции он жил под покровом Варвары Петровны, то в огромном барском доме, то во флигеле того же дома. Итак, он жил и дышал личностью этой женщины, которая время от времени проводила проверку душевного состояния своего друга, и поэтому она отправлялась с ним в Петербург, а иногда в Москву (28), чтобы сопоставить его с другими измерениями. Наконец, протекция и проверки стали как бы искажать его душевную географию, тем более, что кормчей звездой был долгое время его сын Пётр Верховенский, а тот как бы стоял на окраине провинциального атласа.

На самом деле, он вдруг решился на безумное предприятие и вышел на большую дорогу¹⁹, т.е. перешагнул через порог очерченного до тех пор пространства. А по Бахтину можно добавить – пошёл по авантюрному пути без всякой цели, без назначения. Действительно, вдруг он увидел, что

дорога тянулась пред ним бесконечной нитью... и вдали, вдали едва приметная линия уходящей вкось железной дороги (Достоевский 1956-57: VII: 656).

Но большая дорога превращается сразу в лихорадочный кошмар, открывается ему совершенно другое измерение, и жизнь переламинается: всё чуждо, всё ново – крестьянская изба, еда, книгоноша, людское поведение, иначе говоря, „большая дорога” превратилась в зеркало новых жизненных условий и отношений до тех пор неизвестного ему быта. Но „большая дорога” открыла ему путь к народу, ко всему тому, что в прошлом скрывалось светскими обычаями – надо было выйти на неизвестную „большую дорогу”, чтобы открыть новые измерения и духовный, жизненный путь, вдоль которого он скончается.

Напротив, загадочная жестокость и лишняя суровость Ставрогина обнаруживается после того, как он „три года с

¹⁹ "Vive la grande route", восклицает он (Достоевский 1956-57: VII: 656).

лишним” путешествовал и „изъездил всю Европу”. Но этот великий грешник побывал и в Египте, *заезжал* даже в Иерусалим, а в конце концов он

примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии (Достоевский 1956-57: VII: 57)²⁰.

Можно предположить, что, выбирая этот крайний, таинственный остров с гейзерами, автор хотел указать на редкие климатические условия, которые могли содействовать становлению духовного мира этого сложного человека. Итак, Достоевскому удалось создать бездну душевной географии Ставрогина. Вероятно, выбор такого пространственного расширения способствовал тому, что злые, таинственные силы овладели им полностью. По-моему, нетрудно начертить душевный атлас этой личности по топографическим указаниям, так как они отлично соответствуют поступкам этого великого грешника.

Более трудным является внутренний путь Петра Верховенского. Его биография менее ясно очерчена по подобным координатам, а таинственность этого человека бросается в глаза, так как он вырос где-то в деревне за семьсот вёрст от центра. Хотя он много путешествовал, он появляется почти неожиданно на поле действия, приехав со станции Матвеево, по петербургской железной дороге, где „задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали” (Достоевский 1956-57: 210).

Значит, появление Петра Верховенского сопровождается эпизодом/символом душевной кривизны либо дьявольщины, т.е. всего того, что происходит внутри и около него, и это первое появление предвещает лживость этой личности, что подкрепляется противопоставлением столичной бюрократии революционным очагам маленьких провинциальных местечек²¹.

20 Есть и другой пример о далёких странах: один поручик, как и Ставрогин, укусил вдруг своего командира в плечо, и его затем сослали на Маркизские острова, как „тот «кадет», о котором упоминает Герцен в одном из своих сочинений” (Достоевский 1956-57: VII: 364).

21 Например, распространением прокламаций около Шпигулинской фабрики.

В разнородных опорных пунктах этого романа обнаруживаются взрывные моменты: Петербург – не только место бюрократических интриг, но и место кляузников и доносчиков, а донос проходит красной нитью через все бесовские поступки²². Напротив, промежуточное появление мелких местечек, типа О-ской губернии, даёт автору возможность очертить тонкими штрихами внутреннюю дьявольщину, например, путём распространения разных прокламаций. Ещё надо заметить, что когда дьявольщина приближается к кульминации, дальние страны исчезают, т.к. они не могут быть акантами/посредниками при осуществлении секретных, чисто русских дел.

С Лизой мы знакомимся в типично провинциальной обстановке, после её длительного отсутствия, когда она лечилась за границей от болезни, а в России она

...ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок (Достоевский 1956-57: VII: 116).

Конечно, она „недаром в Швейцарии побывала” (Достоевский 1956-57: VII: 136), и чужое просвечивает в любом поступке этой женщины: например, когда она думает об издании „справочника” о духовной, нравственной русской жизни, о чём она мечтала „ещё за границей” (Достоевский 1956-57: VII: 138). К этому делу она хочет привлечь Шатова, который, по мнению Ст. Трофимовича, помешался на немцах, с которых „всё же что-нибудь да стащил себе в карман” (Достоевский 1956-57: VII: 147).

Напротив, в душе юродивой М. Лебядкиной (Достоевский 1956-57: VII: 177) преобладает всё чисто русское, а иноземное до неё дотрагивается лишь косвенно. Она поёт русские песенки, любит молитву, рассказывает легенду о Гришке Отрепьеве (Достоевский 1956-57: VII: 291), но в ней имеется и что-то магическое. Вдруг восстаёт перед ней угроза, убежище в швейцарских горах, в угрюмом месте (Достоевский 1956-57: VII: 292), но юродивой не нужны чужие края, чтобы провести свой век. Судьба этой юродивой вводит нас в самую глубь душевной географии, поскольку она полностью, можно ска-

22 На доносе основана часть всего действия.

зять, служит живым доказательством, что узкой провинциальной атмосфере противостоит широта столичных городов. Эта юродивая живёт внутренне и внешне своей личной душевной географией, по которой измеряется жизнь русской провинции и которая заодно противопоставляется фону замкнутого швейцарского пространства²³, самой провинциальной стране на Западе. Это особенно отмечается в Женеве, окружённой горными хребтами²⁴, от которых Достоевский задышался. Горные хребты как бы мучительно врезывались ему в душу и обостряли идеологическую борьбу. Итак, Швейцария является далёким и тайным душевно-географическим пространством²⁵. Затем Швейцария была своего рода санаторием, куда направлялись, чтобы лечиться „в известном особом заведении” и собраться с новыми силами (Достоевский 1956-57: VII: 457)²⁶, но это и страна идеологических интриг, „откуда управляют здешним движением” (Достоевский 1956-57: VII: 373)²⁷. Иными словами, Швейцария представляется идеологическим фоном *Бесов*²⁸, а остальные страны и города исполняют, почти постоянно, функцию переходных этапов²⁹.

23 По сравнению с Западной Европой.

24 Но Швейцария может стать даже угрозой, когда речь, идёт о личных отношениях: „– Хотите жить со мной всю жизнь, очень отсюда далеко? Это в горах, в Швейцарии, там есть одно место... а место это угрюмое... – Гм. Ни за что не поеду” (Достоевский 1956-57: VII: 292).

25 Там завязываются сложные семейные дела, как доказывает, например, неожиданный отъезд Варвары Петровны, „мигом решила и собралась туда” (Достоевский 1956-57: VII: 58). С тех пор, „все упорно продолжали предполагать какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии” (Достоевский 1956-57: VII: 311), и это убеждение держалось на „чудесном швейцарском приключении” (Достоевский 1956-57: VII: 314).

26 В жизни Ст. Трофимовича тоже появляются „чужие грехи, совершившиеся в Швейцарии” (Достоевский 1956-57: VII: 213), а судьба Лизы в свою очередь намечена „какими-то чудесными швейцарскими приключениями” (VII: 314).

27 По воспоминаниям жены Достоевского известно, что они встречались в Женеве с Н. Огаревым, говорили о Герцене, интересовались Гарибальди, конгрессом лиги мира и свободы, на котором выступил Бакунин, и сам Достоевский участвовал в некоторых заседаниях.

28 Достоевский уехал из Петербурга 14 апреля 1867 г. и возвратился 8 июля 1871 г. За это время они были во многих странах, долго жили в Италии

ЛИТЕРАТУРА

- Бердяев, Н. А.
1990 *Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века, в: О России и русской философской культуре, Москва 1990.*
- Достоевский, Ф. М.
1956-57 *Собрание сочинений в десяти томах, Москва 1956-57: I-X.*
- Мать Мария
1992 *Воспоминания, статьи, очерки, Paris 1992: I.*
- Мочульский, М.
1946 *Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, New York 1946.*
- Федотов, Г. П.
1992 *Мать-земля (К религиозной космологии русского народа), в: Судьба и грехи России, София – Санкт-Петербург 1992: II.*
- Флоренский, Свящ. П.
1995 *Напластования эгейской культуры, в: Первые шаги философии, Сочинения в четырёх томах, Москва 1995: II.*
- Davy, M. M.
1991 *Nicolas Berdiaev – L'homme du huitième jour, Paris 1991.*
- Duval, J. F.
1992 *Flamboyante liberté – Essai sur la philosophie de Nicolas Berdiaev – visionnaire et prophète de notre temps, St. Vincent sur Jabron 1992.*

(с сентября 68 г. по 7 августа 69 г.), и она даже не является для него страной искусства, эту роль исполняет Дрезден.

29 Италия упоминается лишь мимоходом, а бойкая и рискованная идеология может оформиться только в Америке.

Moretti F.
1997

Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino
1997.

Onasch, K.
1976

Der verschwiegene Christus – Versuch über die Poetisierung des Christentums in der Dichtung F.M. Dostoevskis, Berlin 1976.